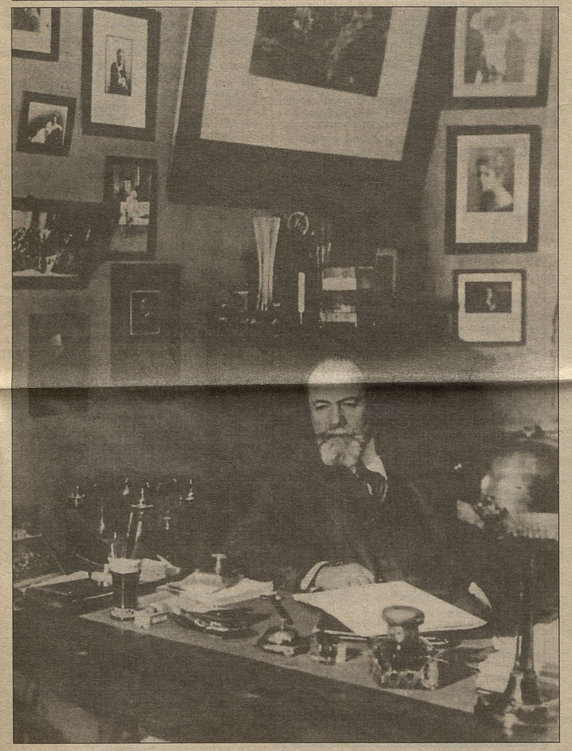
Надежда на катастрофу

Инна СОЛОВЬЕВА



(Окончание. Начало см. в №20, 1996)

В письме от 12 августа театральные новости слитны с неприятностями сугубо житейскими: "Черт бы побрал!.. подрал!.. Насморк, и в горле першит. Точно 12 октября, а не августа. И откуда? С чего? Не закалился, что ли? Но, говорят, – это повальное теперь, - такой ветер, несущий этих микробов... И такие брызги дождичка. А не холодно. Я уже в цилиндре и в тяжелых ботинках.

(...) Вчера выбирал обои в столовую. Дорогие! Что-то по 3 руб. кусок. Хорошие – изящные и скромные.

Поехал вчера в Марьину Рощу к столяру, делающему шкафы. Поехал на трамвае, который делает, однако, огромный крюк, но бежит скоро. По некоторым улицам летит со скоростью курьерского поезда. Беда, однако, в том, что как следует мне не объяснили, где живет этот столяр. Я начал отыскивать квартиру Архипа Антоновича. Это отняло с полчаса. Крутил по скверным улицам, проходил через грязнейшие дворы, а дождь все время лил ливнем. В конце концов, когда я исходил около 45 минут, – столяр оказался около самого трамвая. Но курьезнее всего, что я ему вовсе не нужен был и напрасно он зазывал меня посоветоваться.

Шкафы будут готовы, говорит он, через десять дней... Дай Бог, через три недели!

Денег у меня берут! Тащат, тащат! Конца нет. [...]

Ну, что еще написать? Жизнь начинает становиться очень однообразной. Репетиции скучные. Актеры все своими тонами поднадоели и как-то не растут. Один Москвин очень растет и много помогает в "Ревизоре". "Синей птицей" я еще не занимался. Вижу только, что там дела едва ли не больше, чем в "Ревизоре"...".

Вот, кстати, еще одно свидетельство тайной, глубокой близости Немировича-Данченко и Чехова: "tedium vitae", ощущение скуки жизни – при природном мужестве натуры.

Занятно, как в каждом письме про то, как ставят столбы трамвайные. Очень радуется. Мало чему радуется, а этому - очень. После всех своих рассказов о хлопотливой своей жизни - не без яду пишет: "Сегодня прибывает лорд Константин, премьер Художественного театра. Завтра вступает в исполнение своих обязанностей". Впрочем, в следующем письме ничего от яду: "Приехал Станиславский, в превосходных тонах. 15-го я отдыхал. Погода скверная. Дождь, ветер. Отдых мой заключался в том, что, вставши в 9 часов, я одевался и умывался в пять. А то – бродил по комнатам, писал, подсчитывал, записывал... а вечером был у Станиславского, у него и обедал в 7 часов...

А квартира все еще ждет... Столяр не приносит шкафов, а столовая все еще сохнет.

Новость! В передней, рядом с зеркалом – телефон. 26-66. Но в книге абонентов его не будет. Только близкие будут знать наш №. А сами мы будем говорить с кем захотим".

Как он хочет чем-то приятным развлечься. Это ему всегда удавалось. Но на него скверно действовали холода, особенно не ко времени пришедшие. Он не знает, удастся ли "проскочить эту странно-плохую погоду". Да к тому же восемнадцатого августа, когда он пишет, – понедельник. Тяжелый день.

"...Пасмурность такая, что не верится ни в тепло, ни в тишину.

Впечатлениями моя жизнь на редкость бедна. Такая уж полоса. И, вероятно, это находится в зависимости не от внешней жизни, которая была такая же и год, и два года, и три года назад, а от внутреннего "оравнодушения". Ко всему, что делается в Театре, ко всем, с кем я сталкивался, к планам сезона, к художественным вспышкам наших талантов, к самим произведениям – как они ни велики, вроде "Ревизора", к слухам, к толкам, к остротам или печалям, – ко всему решительно я хладнокровно внимателен, равнодушно деловит, бесстрастно заботлив. Единственно, что мне доставляет удовольствие, – подумывать о квартире, сидеть у себя в кабинете. Это отравляется мыслью о деньгах, и все-таки я немного радуюсь. А вышел из дому, – и нахожусь даже в недурном настроении, но мне кажется как-то все все равно.

Неужели старость уже дает себя чувствовать вполне? Или усталость? Скорее последнее.

Константин вносит в "Ревизора" много интересного и талантливого. Я мягко доволен, радуюсь этому, но меня это не волнует, как не волновало бы, если бы он вел себя плохо. И мне кажется, что в Театре как-то тоже так пошло: гладко, внимательно, аккуратно. Нисколько не менее даровито, чем прежде, а и гораздо порядливее, чем прежде, но без всякого подъема. Точно и Театр обратился в 45-тилетнего мужчину.

Ко всему этому так подходит, что я даже возвращаюсь из Театр вечером на трамвае, дожидаюсь своего № 5 около Конторы императорских театров на Б.Дмитровке. И жду терпеливо, на что прежде совсем не был способен.

Вот тебе мое настроение. А фактов никаких. Тихо радуюсь, что ты в Ялте и беспрерывно желаю тебе здоровья и покоя".

Два дня спустя. "На дворе – солнце вовсю, чистый воздух. Но и вчера было так, однако только до 11 часов. Потом испортилось. А все-таки веселей встается.

С квартирой у меня начинается то, что неминуемо во всяком деле, когда его имеешь не с мастерами, а с подмастерьями. Вот уже три недели, как столовая все еще не сохнет, ее нельзя оклеивать и квартиру нельзя устраивать. Пока я еще был один, можно терпеть. Но приедет Миша, а в первые дни будет жить и Юргенс... уж и не пойму, как это будет. Я уже начал сердиться на Архипа Антоновича, говоря, что очевидно он мне дал плохих штукатуров. А он и сам мучается. Говорит, стояла сырая погода. Но ведь нельзя рассчитывать, что она станет суше, приближаясь к осени!

О шкафах тоже что-то ничего не слышно.

Терпение!

Качество, без которого нельзя жить в России.

Вообще чем дольше я живу, тем больше поражаюсь необычайной бестолковости русской жизни. Поражаюсь тому, как трудно осуществить какой-нибудь план, вовсе не хитрый, вполне осуществимый, но который хоть немного выходит из рутины. Невежество и "кое-как" – кажется, самые распространенные признаки нашей жизни и нашего труда. Все кое-как!

Будем терпеливо ждать".

А в театре – утешительно. Замечает ли он сам, насколько ему стало легче с приездом товарища?

"Вчера обедал у Александрова. Просили его составить юридически наш театральный товарищеский договор. Он сказал, что ему необходимо переговорить со всем нашим правлением, задать ряд вопросов. Тогда я сказал, что мы, все правление, приедем к нему обедать. Я знал, что это доставит ему огромное удовольствие. И не ошибся. Он с одним из помощников проработал всю ночь, а вчера встретил нас энергично, внимательно, любезно и парадным обедом. Жена его уже переехала с дачи. Муся все трепетала. Нас было, впрочем, всего четверо: Вишневский, Москвин, Румянцев. Станиславский не мог быть. Муся я обещал ложу на "Синюю птицу" и "Ревизора". Она так вся и засияла. Марья Николаевна сказала, что это для Муси двойное удовольствие, так как она очень любит тебя. Так вот быть с тобой в ложе доставит ей огромную радость.

Репетиции "Ревизора" очень оживились с приездом Константина Сергеевича. Показывает он так талантливо, как уже давно-давно не показывал. И Уралов и Горев растут с каждой репетицией.

Утешают и декорации "Синей птицы". Некоторые из них выходят – красоты ослепительной.

Константин продолжает быть в отличных тонах. И работает хорошо, и уступчив. Так что брюжжание Лужского, не перестающего будировать против него, режет уже несправедливой злобностью и придирчивостью. Кажется, он был бы больше доволен, если бы Константин мудрил, тормозил дело.

Я в театре совсем не устаю. Последние дни отдохнул".

"Среда 27 авг. [...] Счета, платежи, счета, платежи!..

Ничего не поделаешь. Жизнь катится, и требования выскакивают со всех сторон.

А и жизнь-то довольно однообразна. Хоть бы в театр какой пойти. Да везде так плохо, что не тянет. Опера откроется, – пойду. Да и некогда. Репетиции – утро, вечер – ежедневно.

"Синяя птица" начинает затягивать. Только Константин видел в этой пьесе какую-то необыкновенную глубину, а я вижу легкое, изящное представление. Чуть что не французскую оперетку с симпатичными мыслями. Так и ставится, и чтоб было легко и весело. Мне кажется, что я угадал верную ноту, схватил юмор пьесы. И когда я все настаивал, что там ем кабинета в непроходную комнату, я с большим уютом провожу тут время. Я угадал свою психологию. И в сущности, часы, которые я провожу в кабинете, какими бы пустяками я ни занимался, – самые для меня приятные. Как бы объяснить тебе. Вот тот, которого ты так тепло пожалела в своем длинном письме, тот столько же утомленный, сколько (что еще хуже) угнетенный невезением, общей незадачей последнего времени, этот человек находит какое-то утешение или душевное уравновешение в одиноких часах кабинета. То же было и в Нескучном, то же устроилось и здесь. При этом (слава Богу) всегда теплится, а иногда и горит надежда, что надо только потерпеть, не унывать, – еще будет и подъем духа, и удача. Будет, будет!

Ты влила в свое письмо столько тепла, что оно тронуло бы и еще более "оравнодушевшего" человека.

Спасибо тебе за это, но, повторяю, уныния нет. А это самое важное. Скажу даже искренно – и в помине нет уныния. Стало быть, еще жив человек!

И, конечно, в конце концов все-таки Театр доставляет радости хоть изредка. Какая-нибудь удачная репетиция, какая-нибудь достигнутая красота в искусстве, и все-таки "сердце взыграет". Не часто, очень не часто, но бывает.

И что же я еще могу обдумывать, какой план жизни создавать – к чему ты меня так горячо призываешь? Без Театра у меня прежде всего нет средств, даже для самой скромной жизни. Нет и не может быть средств для выполнения как домашних обязательств, так и всех, в которых я запутался и запутал других – добросовестность моя не позволит мне сказать "К чорту все", а все буду барахтаться и изыскивать способы, пока счастье не повернется круто в мою сторону. Только терпи. Откуда оно может притти, – кто его знает! Из Америки или из Общедоступного театра или от очень удачных сезонов – а все из театра же!

Нет, совершение какого-то резкого поворота не для меня. И если я утомлен, то какая работа, кроме театральной, возможна для утомленного моего мозга? Писательская? Так это еще надо отдохнуть год. Лучше исподволь отдыхать и не отказывать себе, по крайней мере, в привычках комфорта. Когда у меня есть откуда расходовать, – я уже спокоен, - хотя бы делал новые долги.

А ведь, в конце концов, матерьяльная незадача – самый главный мерзавец моей жизни эти годы. В остальном мне еще можно и не очень жаловаться.

Так-то, голубчик мой!".

Вот еще на заметку внимательному читателю, не чужому истории театра: как рифмуется, как откликается нота тоскливости в письмах Немировича-Данченко предъюбилейного времени нотам Станиславского. Когда тремя месяцами позже Станиславский, мучаясь ослаблением трудоспособности театра, падением энергии и падением этики, разразится обращением "к некоторым из товарищей-артистов" и проставит три восклицательных знака в заголовке "Караул!!!", Владимир Иванович ответит ему размышлением редкостной глубины. (оно напечатано в первом томе "Избранных писем", с.462-468). Вывешивать обращение к труппе с воплем – в этом Немирович-Данченко не видит большого смысла. Он размышляет о том что – "нет выхода! И не будет выхода!". Чеховское деятельное мужество в безвыходности. Владимир Иванович не дописывает, – уже половина третьего ночи. "Постараюсь найти время и писать дальше. До чего-нибудь допишусь. То есть до того, что мне мерещится впереди".

Жизнь как безвыходность и как поиск гармонии в безвыходности. И что-то, мерещащееся впереди. Впрочем, об этом он, конечно, пишет не Екатерине Николаевне. Мог бы написать Чехову, но того давно нет на свете. Пишет Станиславскому.

В готовящемся издании письма Немировича-Данченко к Станиславскому предполагаются в неурезанном виде. Здесь не будет лакомств для любителей сенсаций, но будет вдоволь пищи для тех, кто в самом деле хотел бы понять тайну и логику взрывчатого единения этих двоих.

Среди писем-"новостей" будет и то, где Владимир Иванович так искренне, так шутливо, так серьезно увещевает: **надо же** что-то с характером делать, Константин Сергеевич! И как только я с Вами уживаюсь! Ну, почему Вы всегда чувствуете себя и весь Театр на грани гибели? "Ну, чего сейчас Вам нужно? Да может ли Театр испытывать времена лучшие, чем сейчас? Ведь все идет так, чтобы кругом улыбались и радовались...

Театр имел большой успех. Поддержал свою мировую славу..

Сборы у нас блестящие.

Спектакли идут стройно.

Вы - как актер - в зените Вашей славы...

Театр идет по пути, в конце которого Ваш же идеал (теперешний)..

Чего бы, кажется, желать еще?"

Письмо это осталось в бумагах Владимира Ивановича – не отправил. Рядом с другими его письмами - самоанализами оно кажется адресованным столь же спутнику своей жизни, сколько себе самому.

Если все так хорошо, то почему же на душе так плохо?

Странный глагол – "оравнодушеть, оравнодушел"– повторяется из году в год. "И вот я управляю оравнодушело Театром, без аппетита, без большой любви, словно рассчитывая на какую-то катастрофу, которая вскроет наконец правду".

Ему все чаще кажется, что Театр давно уже идет совсем не по тому пути, в конце которого – его, Немировича, теперешний идеал. Он пробует иногда объясниться с теми, кто должен бы понимать суть происходящего – кто бы по долгу профессии – ведь критики, чорт возьми, ведь историки Художественного театра и биографы его! Передавая очередную деловую записку Николаю Эфросу, Владимир Иванович припомнит: "А ведь у меня в кармане лежит уже потершийся конверт с письмом к Вам. Как-то, в минуты раздумья, я, наконец, решил написать Вам о том, что у меня давно бродит по отношению к Вам. Ну, как-нибудь отдам". И так и не отдал. Лежит в архиве с пометкой синим карандашом: "Не послано".

Писал он в связи с выходом двухтомника, где шла статья Эфроса, ему, Немировичу, посвященная. Но тут не спор о понимании или об оценке его роли в МХТ. "Я о Вас самом.

Вот уже второй год я вижу, что Вы куда-то ушли. Не от меня, не в том дело. А от чего-то настоящего, от какой-то лучшей правды, от той правды, которую мы так хорошо, интуитивно чувствовали. Куда? – к чему-то внешнему, к ярко-красиво-наружному. Вы точно не то, что перестали чувствовать правду и душу, но точно надоели они Вам, и Вы пошли... за толпой! Там веселей, легче и радостней? За красиво сказанным словом Вы уже словно не ищете красивой сущности, формальную этику принимаете за настоящую, суррогату глубокого поете хвалы как настоящему глубокому. Что случилось,– я не знаю и не могу разгадать. Не могу поверить, чтоб Вы потеряли нюх и не видите разницы между истинным, подлинным и суррогатом. Но Вы точно сказали себе где-то, когда-то: э, да не все ли равно!

Я не о том, что Вы думаете, а о том, что Вы пишете.

Что случилась?

Я говорю это не под влиянием минутных впечатлений, а давно во мне это зреет. И чем дальше я сам ухожу в глубь настоящего, тем дальше чувствую от себя Вас.

Я перебирал все Ваши возражения мысленно, самые серьезные, основанные на лучших пониманиях искусства и его содержания, думаю, что Вы не можете сказать ничего такого, о чем бы я сам уже не думал много-много, - и не оправдывал Вас. Чем-то ложным заразились Вы, как лихорадкой, и чем-то отравились. И в той маленькой, крохотной кучке людей, которые около меня и которые глубоко-глубоко понимают мои истинные стремления и для которых ясен Божеский путь и которые скромно, но с огромной верой идут по нему и число которых растет очень медленно, – в этой кучке Вас совсем нет. И даже когда Вы чувствуете истинную силу нашей правды, - Вам и в голову не приходит, что она исходит от этой кучки. Вы доверчиво считаете ее исходящею оттуда, где *фабрикуется* "нечто правдивое".

Я Вам давно хотел это сказать...

Не сердитесь на меня.

А если найдете, что у меня развилась мания величия, что я сравниваю себя с Создателем, – ну, что ж, думайте так. Все равно уж!

Ваш *В.Нем.-Дан.*"

Остановиться бы на словах про "Божеский путь", по которому этот человек, вроде бы столь далекий (по-чеховски далекий) от религии, хотел бы итти и вести в 1913-м году (письмо Эфросу, видимо, надо датировать так).

Сопоставить бы эти слова с тем, о чем глухо (не тот собеседник, не та тема разговора) в двадцать втором году говорит в письме автору монографии "Станиславский" В.М.Волькенштейну (письмо тоже ждет публикации). Возражая Волькенштейну, Вл.Ив. держит в уме знаменитую статью Мейерхольда и Бебутова "Одиночество Станиславского". Если академически разбираться, кто повинен в сужении замыслов, в обытовлении целей и средств Театра, обвиняемый по той статье Немирович-Данченко мог бы привести факты, свидетельствующие: скорее он мог бы жаловаться на своего великого партнера, чем тот –на него (кто искал встреч с Достоевским и кто - с Гольдони? Кто хранил интерес к трагическим экспрессионистским нотам Леонида Андреева и Юшкевича, кого тянуло к эпике Рабиндраната Тагора, – ведь не Станиславского же). Но блистательная и дышащая ненавистью статья в "Вестнике театра" к фактам была безразлична, брала ударностью посыла - лишь бы разнести то, что видится "слащавой кроличьей идиллией", и разнести буржуйских заказчиков этой натуралистической идиллии - "всех этих разряженных, тупо довольных собою Манташевых, Морозовых, Рябушинских, Востряковых, Джамгаровых...". Немирович-Данченко в письме к Волькенштейну сухо пояснял свое молчание в ответ на оскорбления: Луначарский советовал возражать, "но два мотива остановили меня: первый, – что главнейшие цели статьи были практически-политического характера, стало быть всякие возражения, как бы они ни были убедительны, были бесполезны, а второй мотив тот, что, возражая по существу, я должен был бы по многим вопросам становиться в неловкие отношения с Конст.Серг., *связь с которым для меня дороже лживой обо мне репутации"*. Это он писал в 1922 году, летом.

Пятнадцать лет назад, мы помним, он обрывал письмо Константину Сергеевичу - уже половина третьего ночи. "Постараюсь найти время и писать дальше. До чего-нибудь допишусь. То есть до того, что мне мерещится впереди".

Что же там впереди?

Эта странная надежда на катастрофу, в которой он признается в 1915-м?

Пройдет не так уж много времени еще, и Немирович-Данченко даст почти пугающие доказательства того, как он готов пересмотреть все то, что он же утверждал в Художественном театре.

Полнота сбора материалов способна не только разрешить загадки, но поставить перед новыми. Вот документ официальный, соответственно оформленный:

"В театральную подсекцию научно-художественной секции Государственного Ученого Совета

от представителя Московского Художественного театра

народного артиста республики Вл.И.Немировича-Данченко

При составлении репертуара будущего года я руководствовался такими соображениями:

1. Из старого репертуара Московского Художественного театра надо исключить:

а) произведения литературы, неприемлемые для нашей современности (пример: весь чеховский репертуар, – по крайней мере, в той интерпретации, в какой эти пьесы шли в Художественном театре до сих пор).

б) Спектакли хотя и вполне приемлемые как литературные произведения, но утратившие интерес по своей устаревшей сценической форме (пример: "На всякого мудреца довольно простоты").

2. Из старого репертуара следует сохранить спектакли, и по качествам пьес и по исполнению еще представляющие серьезный интерес, хотя бы и "академический".

Таковыми я счел - "Ревизор", "Горе от ума", "Смерть Пазухина", "Каменный гость", "Царь Федор Иоаннович", "Братья Карамазовы".

Последний спектакль находится еще под вопросом у Репертkoма.

Все эти произведения имеют блестящих исполнителей и поставлены в лучших формах строгого реализма, не перегруженного трудно воспринимаемым теперь натурализмом.

Строгие требования, с какими МХАТ должен возобновить свою деятельность, заставляют ограничить его репертуар названными спектаклями.

3) Из намеченного нового репертуара на предстоящий сезон я остановился только на двух постановках: "Старый Кромдэр" Жюля Ромена ("Le vieu Cromdaire") в стихотворном переводе Мандельштама и "Драма жизни" Кнута Гамсуна (играна в МХАТ 18 лет назад). На постановку первой мною получено одобрение наркома А.В.Луначарского.

Деревня Старый Кромдэр – это суровая коммунистическая община, находящаяся на верху горы. Она занимает командующую высоту над долиной. Ее жители – народ особенный, живущий своими общинными законами. У них и отношение к церкви особенное. Для только что выстроенной церкви они готовили в священники самого даровитого из своих юношей, но он пришел из семинарии с насмешкой и ненавистью к ее руководителям, с мыслью о каком-то своем Боге для Кромдэра, с какой-то простой и светлой, улыбчивой религией. В деревне почему-то все больше рождаются мальчики. Поэтому иногда, периодически, юноши Кромдэра устраивают набег на долину, выхватывают из нее красивейших девушек, берут себе в жены, и эти скоро не только свыкаются со своей долей, но даже находят ее прекрасной.

Пьеса развивается не в том обычном сценически-динамическом темпе, который так часто смахивает на мелодраму, а как бы в ритме большой симфонии, глубокой, здоровой и радостной, – радостной победным тоном в благородной борьбе за существование, в идеологии, свободной от мещанской культуры Парижа.

Я нахожу эту пьесу чрезвычайно созвучной современности и в то же время избавленной от той назойливости, которая так характеризует нарочитую погоню за остротой текущего дня, – касается ли эта нарочитость сценической формы или идеологического содержания.

Я рассчитываю осуществить постановку этой пьесы силами преимущественно молодой части труппы МХАТ.

Другая постановка – "Драма жизни", пьеса огромного таланта, будет опираться на старших членов труппы. Она потребует ярко сложившихся темпераментов и большой актерской техники. И здесь план постановки широкого масштаба: страсти, разрывающие в клочья дело всей жизни.

4. Музыкальная Студия отказалась пока от работы по "Дворянскому гнезду" Ребикова (по требованию репертkома) и, увлеченная в настоящей стадии развития более серьезными задачами, – от оперы- буфф "Орфей в аду". В план работ после "Кармен" входят: "Борис Годунов" Мусоргского и "Алеко" Рахманинова (последняя двухактная опера – в один вечер с "маленькой трагедией" Пушкина "Каменный гость") [...].

Представитель Московского Художественного Академического театра народный артист республики

Вл.Немирович-Данченко".

Бумага составлена в апреле 1924 года. "Старики" еще доигрывают свои спектакли на американских гастролях: в Кливленде состоялось четырехсотое представление "Вишневого сада" – это было третьего, пятого Станиславский сыграл Астрова в "Дяде Ване" . Шестого были в Чикаго – играли "Иванова". 24 и 25-го Станиславский играл своего мохноухого Крутицкого в "Мудреце". Еще предстоит прощальный спектакль – 10 мая в день расставания с Америкой играют "Вишневый сад". Что ж, в последний раз?..

Какие предположения строить насчет этой бумаги с казенным адресом? Самые пошлые, что ли: пользуется отсутствием давнего великого соперника и выбрасывает из репертуара его шедевры? Да ведь не выходит; во всех категорически вычеркиваемых им постановках Чехова Немирович-Данченко –сорежиссер. Когда до него дойдет газетный пересказ выступлений Книппер в Берлине, он пожмет плечами не без раздражения: "Я-то думал, что Чехова я ввел на сцену, – а со слов Книппер оказывается Станиславский". А "На всякого мудреца довольно простоты" – уж точно собственная его, Немировича-Данченко, режиссерская работа. А как раз "Драма жизни", к возвращению на сцену рекомендуемая, = постановка Станиславского.

Для того, чтобы усмотреть в бумаге маневр, рассчитанный на обход противника из казенного дома, – нет оснований. Предположить, что отречение от Чехова – итог сверепого кабинетного выкручивания рук художнику? Это было бы всего понятней. Но ведь не выходит! Вот письма, так же до сих пор не опубликованные. Например, в письме двадцать шестого года к Федору Николаевичу Михальскому Немирович-Данченко утверждает снова и снова: если в итоге ужасного стечения обстоятельств, в итоге ужасной телеграммы от "стариков" он стал изгнанником ("Я чувствую себя выгнанным из моего собственного дома"... "Я мог бы теперь хорошо научить актеров играть "Короля Лира"), – то дело вовсе не в материальных делах Музыкальной Студии, на которую ссылаются "старики", и вообще не в Музыкальной студии: "Мешал мой лозунг "Курс на молодежь!"...

Мешало то, что я возвращение к "Мудрецу" и "Дяде Ване" нахожу махровой реакцией, за которую Художественный театр жестоко расплатится".

Отношения Немировича-Данченко и Чехова ("Чехов – талантливый я", –писал он когда-то) – драматичнейший узел послереволюционной биографии художника и его театра. Здесь стягиваются и проблемы идеологии и проблемы стиля. Но об этом – в других документах.